

всякому другому естественному телу, повинуются в своих эволюциях и видоизменениях общим законам, которые, по-видимому, столь же неизбежны, как и законы физического мира. Выяснение этих законов из массы прошедших и настоящих исторических фактов – вот задача социологии. Помимо громадного интереса, представляемого ею для ума, она обещает в будущем большую практическую пользу; ибо подобно тому, как мы не можем властвовать над природой и видоизменять ее, согласно нашим прогрессивным нуждам, иначе как лишь благодаря приобретенному нами знанию ее законов, так же точно мы будем в состоянии осуществить в социальной среде свободу и благоденствие, лишь опираясь на постоянные законы, управляющие этой средой. Раз мы признали, что бездна, которая в воображении теологов и метафизиков разделяет дух и природу, не существует, мы должны рассматривать человеческое общество как тело, разумеется, гораздо более сложное, чем другие, но столь же естественное и повинующееся тем же законам, с прибавлением законов, исключительно ему свойственных. Раз это признано, становится ясным, что знание и строгое исследование этих законов необходимо, дабы предпринимаемые нами социальные переустройства были живучи.

Но, с другой стороны, мы знаем, что *социология* – наука, едва лишь появившаяся на свет, что принципы ее еще не установлены. Если мы будем судить об этой науке, самой трудной из всех, по примеру других, то мы должны будем признать, что потребуются века, по крайней мере одно столетие, чтобы она могла окончательно утвердиться и сделаться наукой серьезной и более или менее полной и самодовлеющей. Итак, как же поступать? Надо ли, чтобы страдающее человечество ожидало избавления от давящих его несчастий столетие и более, до тех пор, пока окончательно установившаяся позитивная социология не объявит ему, что она наконец может дать указания и инструкции для рационального переустройства социальной жизни?

Нет, тысячу раз нет! Во-первых, чтобы ждать еще несколько столетий, нужно иметь терпение... по старой привычке, мы чуть было не сказали: терпение немцев, но вспомнили, что в настоящее время другие народы превзошли немцев в этой добродетели. Во-вторых, если мы даже предположим, что у нас будет возможность и терпение ожидать, то чем бы явилось общество, представляющее собой лишь применение на практике науки, хотя бы самой полной и совершенной в мире? Ничтожеством. Представьте себе мир, не заключающий в себе ничего, кроме того, что человеческий ум до сих пор заметил, узнал и понял, – не являлся ли бы этот мир дрянным домишкой, по сравнению с тем, который существует?

Мы полны уважения к науке; мы смотрим на нее, как на одно из самых драгоценных сокровищ, как на одну из лучших слав человечества. Наукой человек отличается от животного, своего меньшего брата в настоящем, своего предка в прошедшем, и становится способным быть свободным. Тем не менее необходимо также признать, что у науки есть границы, и напомнить ей, что она не все, что она только часть всего и что все – это жизнь, бесконечная жизнь миров или, чтобы не потеряться в бесконечном и неведомом, жизнь нашей Солнечной системы, или хотя бы нашего земного шара; наконец, еще более ограничивая себя: человеческий мир – движение, развитие, жизнь человеческого общества на земле. Все это несравненно шире, глубже и богаче науки и никогда не будет ею исчерпано.

Жизнь, взятая в этом всеобъемлющем смысле, не является применением той или другой человеческой или божеской теории; жизнь – это творение, сказали бы мы охотно, если бы не боялись быть неправильно понятыми. Сравнивая народы, творящие свою собственную историю, с художниками, мы спросили бы: разве ждали великие поэты для создания своих великих произведений, чтобы наука раскрыла законы поэтического творчества? Не создали ли Эсхил и Софокл свои великолепные трагедии много раньше, чем Аристотель построил на основании их творений свою первую эстетику? Теориями ли вдохновлялся Шекспир? А Бетховен? Не расширил ли он созданием своих симфоний самые основания контрапункта? И чем бы было произведение искусства, созданное по правилам самой лучшей эстетики в мире? Повторяем еще раз – ничтожеством. Но народы, творящие свою историю, по всей вероятности, не беднее инстинктом, не слабее творческой мощью, не зависимее от гг. ученых, чем художники!

Если мы колеблемся употребить слово «творение», то только потому, что ему припишут смысл, который мы никак не можем допустить. Кто говорит о творении, говорит, как будто и о творце, а мы отвергаем существование единого творца по отношению к человеческому миру так же точно, как и по отношению к физическому, которые оба составляют, на наш взгляд, один нераздельный мир. Даже говоря о народах, творящих свою собственную историю, мы сознаем, что употребляем метафориче-